# В родном углу

# Антон Павлович Чехов

## I

Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко белеющая в степи, тихая, со стенами, горячими от зноя, без одной тени и, похоже, без людей. Поезд уже ушел, покинув вас здесь, и шум его слышится чуть‑чуть и замирает наконец... Около станции пустынно и нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в коляску — это так приятно после вагона — и катите по степной дороге, и перед вами мало‑помалу открываются картины, каких нет под Москвой, громадные, бесконечные, очаровательные своим однообразием. Степь, степь — и больше ничего; вдали старый курган или ветряк; везут на волах каменный уголь... Птицы, в одиночку, низко носятся над равниной, и мерные движения их крыльев нагоняют дремоту. Жарко. Прошел час‑другой, а все степь, степь, и все курган вдали. Ваш кучер рассказывает что‑то, часто указывая кнутом в сторону, что‑то длинное и ненужное, и душой овладевает спокойствие, о прошлом не хочется думать...

За Верой Ивановной Кардиной выехали на тройке. Кучер уложил вещи и стал поправлять сбрую.

— Все, как было, — сказала Вера, оглядываясь. — В последний раз я была здесь еще девочкой, лет десять назад. Помню, выезжал за мной тогда старик Борис. Что, он жив еще?

Кучер ничего не ответил и только сердито, по‑хохлацки поглядел на нее и полез на козла.

Нужно было проехать от станции верст тридцать, и Вера тоже поддалась обаянию степи, забыла о прошлом и думала только о том, как здесь просторно, как свободно; ей, здоровой, умной, красивой, молодой — ей было только 23 года — недоставало до сих пор в жизни именно только этого простора и свободы.

Степь, степь... Лошади бегут, солнце все выше, и кажется, что тогда, в детстве, степь не бывала в июне такой богатой, такой пышной; травы в цвету — зеленые, желтые, лиловые, белые, и от них, и от нагретой земли идет аромат; и какие‑то странные синие птицы по дороге... Вера давно уже отвыкла молиться, но теперь шепчет, превозмогая дремоту:

— Господи, дай, чтобы мне было здесь хорошо.

А на душе покойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ехать так и смотреть на степь. Вдруг неожиданно глубокий овраг, поросший молодым дубом и ольхой; потянуло влагой — должно быть, ручей внизу. На этой стороне, у самого края оврага, вспорхнула с шумом стая куропаток. Вера вспомнила, что когда‑то к этому оврагу ходили по вечерам гулять; значит, уже усадьба близко! И вот в самом деле виднеются вдали тополи, клуня; в стороне черный дым: это жгут старую солому. Вот тетя Даша идет навстречу и машет платком; дедушка на террасе. Боже, какая радость!

— Милая! милая! — говорила тетя, вскрикивая, как в истерике. — Приехала наша настоящая хозяйка! Пойми, ведь ты наша хозяйка, наша королева! Тут все твое! Милая, красавица, я не тетка, а твоя послушная раба!

У Веры никого не было родных, кроме дедушки и тети; мать умерла уже давно, отец, инженер, умер три месяца назад в Казани, проездом из Сибири. Дедушка был с большой седой бородой, толстый, красный, с одышкой, и ходил, выпятив вперед живот и опираясь на палку. Тетя, дама лет сорока двух, одетая в модное платье с высокими рукавами, сильно стянутая в талии, очевидно, молодилась и еще хотела нравиться; ходила она мелкими шагами, и у нее при этом вздрагивала спина.

— Ты будешь нас любить? — говорила она, обнимая Веру. — Ты не гордая?

По желанию дедушки отслужили благодарственный молебен, потом долго обедали — и для Веры началась ее новая жизнь. Ей отвели лучшую комнату, снесли туда все ковры, какие только были в доме, поставили много цветов; и когда она вечером легла в свою уютную, широкую, очень мягкую постель и укрылась шелковым одеялом, от которого пахло старым лежалым платьем, то засмеялась от удовольствия.

Тетя Даша пришла на минутку, чтобы пожелать ей спокойной ночи.

— Вот ты и приехала, слава богу, — сказала она, садясь на постель. — Как видишь, живем хорошо, лучше и не нужно. Только вот одно: дедушка твой плох! Беда, как плох! Задыхается и уж забываться стал. А ведь — помнишь? — какое здоровье, какая сила! Неукротимый был человек... Прежде, бывало, чуть прислуга не угодит или что, как вскочит и — «Двадцать пять горячих! Розог!» А теперь присмирел и не слыхать его. И то сказать, не те времена теперь, душечка; бить нельзя. Оно, конечно, зачем бить, но и распускать тоже не следует.

— Тетя, а их теперь бьют? — спросила Вера.

— Приказчик, случается, бьет, а я нет. Бог с ними! И дедушка твой, по старой памяти, иной раз замахнется палкой, но бить не бьет.

Тетя Даша зевнула и перекрестила рот, потом правое ухо.

— Здесь не скучно жить? — спросила Вера.

— Как тебе сказать? Помещики теперь перевелись, не живут тут; но зато понастроили кругом заводов, душечка, и тут этих инженеров, докторов, штейгеров — сила! Конечно, спектакли, концерты, но больше все карты. И к нам ездят. Бывает у нас доктор Нещапов, из завода, такой красивый, интересный! В твою фотографию влюбился. Я уж и решила: ну, думаю, это Верочкина судьба. Молодой, красивый, со средствами — партия, одним словом. Ну, да ведь и ты у меня невеста хоть куда. Фамилии хорошей, имение наше заложено, но — что ж? — зато устроено, не запущено; моя тут есть часть, но все тебе останется; я твоя послушная раба. И покойный мой брат, папочка твой, пятнадцать тысяч оставил... Ну, однако, я вижу, у тебя глазки слипаются. Спи, деточка.

На другой день Вера долго гуляла около дома. Сад, старый, некрасивый, без дорожек, расположенный неудобно, по скату, был совершенно заброшен: должно быть, считался лишним в хозяйстве. Много ужей. Удоды летали под деревьями и кричали — «у‑ту‑тут!» таким тоном, как будто хотели о чем‑то напомнить. Внизу была река, поросшая высоким камышом, а за рекой, в полуверсте от берега, — деревня. Из сада Вера пошла в поле; глядя в даль, думая о своей новой жизни в родном гнезде, она все хотела понять, что ждет ее. Этот простор, это красивое спокойствие степи говорили ей, что счастье близко и уже, пожалуй, есть; в сущности, тысячи людей сказали бы: какое счастье быть молодой, здоровой, образованной, жить в собственной усадьбе! И в то же время нескончаемая равнина, однообразная, без одной живой души, пугала ее, и минутами было ясно, что это спокойное зеленое чудовище поглотит ее жизнь, обратит в ничто. Она молода, изящна, любит жизнь; она кончила в институте, выучилась говорить на трех языках, много читала, путешествовала с отцом, — но неужели все это только для того, чтобы в конце концов поселиться в глухой степной усадьбе и изо дня в день, от нечего делать, ходить из сада в поле, из поля в сад и потом сидеть дома и слушать, как дышит дедушка? Но что же делать? Куда деваться? И никак она не могла дать себе ответа, и когда возвращалась домой, то думала, что едва ли здесь она будет счастлива и что ехать со станции сюда гораздо интереснее, чем жить здесь.

Приехал из завода доктор Нещапов. Он был врачом, но года три назад взял на заводе пай и стал одним из хозяев и теперь не считал медицину своим главным делом, хотя и занимался практикой. Наружно это был бледный, стройный брюнет в белом жилете; понять же, что у него в душе и в голове, было трудно. Здороваясь, он поцеловал у тети Даши руку и потом то и дело вскакивал, чтобы подать стул или уступить место, все время был очень серьезен и молчал, и если начинал говорить, то почему‑то первую фразу его нельзя было расслышать и понять, хотя говорил он правильно и не тихо.

— Вы изволите играть на рояле? — спросил он у Веры и вдруг вскочил, так как она уронила платок.

Просидел он с полудня до 12‑ти часов ночи, молча, и очень не понравился Вере; ей казалось, что белый жилет в деревне — это дурной тон, а изысканная вежливость, манеры и бледное, серьезное лицо с темными бровями были приторны; и ей казалось, что постоянно молчал он потому, вероятно, что был недалек. Тетя же, когда он уехал, сказала радостно:

— Ну, что? Не правда ли, прелесть?

## II

Тетя Даша занималась хозяйством. Сильно затянутая, звеня браслетами на обеих руках, она ходила то в кухню, то в амбар, то на скотный, мелкими шагами, и спина у нее вздрагивала; и когда она говорила с приказчиком или с мужиками, то почему‑то всякий раз надевала pince‑nez. Дедушка сидел все на одном месте и раскладывал пасьянс или дремал. За обедом и за ужином он ел ужасно много; ему подавали и сегодняшнее, и вчерашнее, и холодный пирог, оставшийся с воскресенья, и людскую солонину, и он все съедал с жадностью, и от каждого обеда у Веры оставалось такое впечатление, что когда потом она видела, как гнали овец или везли с мельницы муку, то думала: «Это дедушка съест». Большею частью он молчал, погруженный в еду или пасьянс; но случалось, за обедом, при взгляде на Веру, он умилялся и говорил нежно:

— Внучка моя единственная! Верочка!

И слезы блестели у него на глазах. Или вдруг лицо у него багровело, шея надувалась, он со злобой глядел на прислугу и спрашивал, стуча палкой:

— Почему хрену не подали?

Зимою он вел совершенно неподвижную жизнь, летом же иногда ездил в поле, чтобы взглянуть на овсы и на травы, и, вернувшись, говорил, что без него везде беспорядки, и замахивался палкой.

— Не в духе твой дедушка, — шептала тетя Даша. — Ну, да теперь ничего, а прежде не дай бог: «Двадцать пять горячих! Розог!»

Тетя жаловалась, что все облепились, никто ничего не делает и что имение не приносит никакого дохода. В самом деле, никакого сельского хозяйства не было; пахали и сеяли немного, только по привычке, и, в сущности, ничего не делали, жили праздно. Между тем весь день ходили, считали, хлопотали; беготня в доме начиналась с пяти часов утра и постоянно слышалось «подай», «принеси», «сбегай», и прислуга обыкновенно к вечеру уже выбивалась из сил. У тети каждую неделю менялись кухарки и горничные; то она рассчитывала их за безнравственность, то они сами уходили, говоря, что замучились. Из своих деревенских никто не шел служить, и приходилось нанимать дальних. Из своих жила одна только девушка Алена и не уходила потому, что на ее жалованье кормилась дома вся семья — старухи и дети. Эта Алена, маленькая, бледная, глуповатая, весь день убирала комнаты, служила за столом, топила печи, шила, стирала, но все казалось, что она возится, стучит сапогами и только мешает и доме; из страха, как бы ее не рассчитали и не услали домой, она роняла и часто била посуду, и у нее вычитали из жалованья, а потом ее мать и бабушка приходили и кланялись тете Даше в ноги.

Раз в неделю, а иногда и чаще, приезжали гости. Тетя входила к Вере и говорила:

— Ты бы посидела с гостями, а то подумают, что ты гордая.

Вера шла к гостям и играла с ними подолгу в винт или играла на рояле, а гости танцевали; тетя, веселая, тяжело дыша от танцев, подходила к ней и шептала:

— Будь поласковей с Марьей Никифоровной.

6‑го декабря, в Николин день, приехало сразу много гостей, человек тридцать; играли в винт до поздней ночи, и многие остались ночевать. С утра опять засели за карты, потом обедали, и когда после обеда Вера пошла к себе в комнату, чтобы отдохнуть от разговоров и от табачного дыма, то и там были гости, и она едва не заплакала с отчаяния. И когда вечером все они стали собираться домой, то от радости, что они наконец уезжают, она сказала:

— Вы бы еще посидели!

Гости утомляли ее и стесняли; и в то же время — это бывало почти каждый день — едва начинало темнеть, как ее уже тянуло из дому, и она уезжала в гости куда‑нибудь на завод или к соседям‑помещикам; и там игра в карты, танцы, фанты, ужины... Молодые люди, служащие на заводах и шахтах, иногда пели малороссийские песни, и очень недурно. Становилось грустно, когда они пели. Или сходились все в одну комнату и тут в сумерках говорили о шахтах, о кладах, зарытых когда‑то в степи, о Саур‑Могиле... Во время разговора в позднее время, случалось, вдруг доносилось «ка‑ра‑у‑ул!». Это пьяный шел или грабили кого‑нибудь по соседству в шахтах. Или же в печах завывал ветер, хлопали ставни, потом, немного погодя, слышался тревожный звон в церкви; это начиналась метель.

На всех вечерах, пикниках и обедах неизменно самой интересной женщиной была тетя Даша и самым интересным мужчиной доктор Нещапов. На заводах и в усадьбах читали очень мало, играли только марши и польки, и молодежь всегда горячо спорила о том, чего не понимала, и это выходило грубо. Спорили горячо и громко, но, странно, нигде в другом месте Вера не встречала таких равнодушных и беззаботных людей, как здесь. Казалось, что у них нет ни родины, ни религии, ни общественных интересов. Когда говорили о литературе или решали какой‑нибудь отвлеченный вопрос, то по лицу Нещапова видно было, что это его нисколько не интересует и что уже давно, очень давно он не читал ничего и читать не хочет. Он, серьезный, без выражения, точно дурно написанный портрет, постоянно в белом жилете, по‑прежнему все молчал и был непонятен; но дамы и барышни находили его интересным и были в восторге от его манер и завидовали Вере, которая ему, по‑видимому, очень нравилась. И Вера всякий раз уезжала из гостей с досадой и давала себе слово сидеть дома; но проходил день, наступал вечер, и она снова спешила на завод, и так почти всю зиму.

Она выписывала книги и журналы и читала у себя в комнате. И по ночам читала, лежа в постели. Когда часы в коридоре били два или три и когда уже от чтения начинали болеть виски, она садилась в постели и думала. Что делать? Куда деваться? Проклятый, назойливый вопрос, на который давно уже готово много ответов и, в сущности, нет ни одного.

О, как это, должно быть, благородно, свято, картинно — служить народу, облегчать его муки, просвещать его. Но она, Вера, не знает народа. И как подойти к нему? Он чужд ей, неинтересен; она не выносит тяжелого запаха изб, кабацкой брани, немытых детей, бабьих разговоров о болезнях. Идти по сугробам, зябнуть, потом сидеть в душной избе, учить детей, которых не любишь, — нет, лучше умереть! И учить мужицких детей в то время, как тетя Даша получает доход с трактиров и штрафует мужиков, — какая это была бы комедия! Сколько разговоров про школы, сельские библиотеки, про всеобщее обучение, но ведь если бы все эти знакомые инженеры, заводчики, дамы не лицемерили, а в самом деле верили, что просвещение нужно, то они не платили бы учителям по 15 рублей в месяц, как теперь, и не морили бы их голодом. И школы, и разговоры о невежестве — это для того только, чтобы заглушать совесть, так как стыдно иметь пять или десять тысяч десятин земли и быть равнодушным к народу. Вот про доктора Нещапова говорят дамы, что он добрый, устроил при заводе школу. Да, школу построил из старого заводского камня, рублей за восемьсот, и «многая лета» пели ему на освящении школы, а вот, небось, пая своего не отдаст, и, небось, в голову ему не приходит, что мужики такие же люди, как он, и что их тоже нужно учить в университетах, а не только в этих жалких заводских школах.

И Вера чувствует злобу на себя и на всех. Она берется опять за книгу и хочет читать, но немного погодя опять садится и думает. Сделаться врачом? Но для этого нужно держать экзамен по латинскому языку, и к тому же еще у нее непобедимое отвращение к трупам и болезням. Хорошо бы стать механиком, судьей, командиром парохода, ученым, делать бы что‑нибудь такое, на что уходили бы все силы, физические и душевные, и чтобы утомляться и потом крепко спать ночью; отдать бы свою жизнь чему‑нибудь такому, чтобы быть интересным человеком, нравиться интересным людям, любить, иметь свою настоящую семью... Но что делать? С чего начать?

Как‑то, в одно из воскресений в Великом посту, тетя зашла к ней рано утром, чтобы взять зонтик. Вера сидела в постели, охватив голову руками, и думала.

— Ты бы, душечка, поехала в церковь, — сказала тетя, — а то подумают, что ты неверующая.

Вера ничего не ответила.

— Я вижу, ты скучаешь, бедняжечка, — сказала тетя, опускаясь на колени перед постелью; она обожала Веру. — Признайся: скучаешь?

— Очень.

— Красавица, королева моя, я твоя послушная раба, я желаю тебе только добра и счастья... Скажи, отчего ты не хочешь идти за Нещапова? Кого же тебе еще нужно, деточка? Извини, милая, перебирать так нельзя, мы не князья... Время уходит, тебе не 17 лет... И не понимаю! Он тебя любит, боготворит!

— Ах, господи, — сказала Вера с досадой, — но почем я знаю? Сам он молчит, никогда не говорит ни слова.

— Он стесняется, душечка... А вдруг ты ему откажешь!

И когда потом тетя вышла, Вера стояла среди своей комнаты, не зная, одеваться ей или опять лечь. Противная постель, глянешь в окно — там голые деревья, серый снег, противные галки, свиньи, которых съест дедушка...

«В самом деле, — подумала она, — замуж, что ли!»

## III

Два дня тетя ходила с заплаканным, сильно напудренным лицом и за обедом все вздыхала и посматривала на образ. И нельзя было понять, в чем ее горе. Но вот она решилась, вошла к Вере и сказала развязно:

— Это самое, деточка, надо проценты в банк взносить, а арендатор не платит. Позволь заплатить из пятнадцати тысяч, что тебе оставил папочка.

Потом целый день тетя в саду варила вишневое варенье. Алена, с красными от жара щеками, бегала то в сад, то в дом, то на погреб. Когда тетя варила варенье, с очень серьезным лицом, точно священнодействовала, и короткие рукава позволяли видеть ее маленькие, крепкие, деспотические руки, и когда не переставая бегала прислуга, хлопоча около этого варенья, которое будет есть не она, то всякий раз чувствовалось мучительство...

В саду пахло горячими вишнями. Уже зашло солнце, жаровню унесли, но все еще в воздухе держался этот приятный, сладковатый запах. Вера сидела на скамье и смотрела, как новый работник, молодой прохожий солдат, делал, по ее приказанию, дорожки. Он резал лопатой дерн и бросал его в тачку.

— Ты где был на службе? — спросила у него Вера.

— В Бердянске.

— А куда идешь теперь? Домой?

— Никак нет, — ответил работник. — У меня нет дома.

— Но ты где родился и вырос?

— В Орловской губернии. До службы я жил у матери, в доме вотчима; мать — хозяйка, ее уважали, и я при ней кормился. А на службе получил письмо: померла мать... Идти мне теперь домой как будто уж и неохота. Не родной отец, стало быть, и дом чужой.

— А твой родной отец умер?

— Не могу знать. Я незаконнорожденный.

В это время в окне показалась тетя и сказала:

— Иль не фо па парле о жанс... (14) Иди, любезный, в кухню, — обратилась она к солдату. — Там расскажешь.

А потом, как вчера и всегда, ужин, чтение, бессонная ночь и бесконечные мысли все об одном. В три часа восходило солнце, Алена уже возилась в коридоре, а Вера все еще не спала и старалась читать. Послышался скрип тачки: это новый работник пришел в сад... Вера села у открытого окна с книгой, дремала и смотрела, как солдат делал для нее дорожки, и это занимало ее. Дорожки ровные, как ремень, гладкие, и весело воображать, какие они будут, когда их посыплют желтым песком.

Видно было, как в начале шестого часа из дома вышла тетя в розовом капоте, в папильотках. Она постояла на крыльце, молча, минуты три, и потом сказала солдату:

— Возьми свой паспорт, уходи с богом. Я не могу у себя в доме держать незаконнорожденных.

В груди у Веры камнем повернулось тяжелое, злое чувство. Она негодовала, ненавидела тетю; тетя надоела ей до тоски, до отвращения... Но что делать? Оборвать ее на слове? Нагрубить ей? Но какая польза? Положим, бороться с ней, устранить ее, сделать безвредной, сделать так, чтобы дедушка не замахивался палкой, но — какая польза? Это все равно, что в степи, которой конца не видно, убить одну мышь или одну змею. Громадные пространства, длинные зимы, однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощности, положение кажется безнадежным, и ничего не хочется делать, — все бесполезно.

Вошла Алена и, низко поклонившись Вере, начала выносить кресла, чтобы выбить из них пыль.

— Нашла время убирать, — сказала с досадой Вера. — Уйди отсюда!

Алена растерялась и от страха не могла понять, что хотят от нее, и стала быстро убирать на комоде.

— Уйди отсюда, тебе говорят! — крикнула Вера, холодея; никогда раньше она не испытывала такого тяжелого чувства. — Уйди!

Алена издала какой‑то стон, словно птичий, и уронила на ковер золотые часы.

— Вон отсюда! — крикнула Вера не своим голосом, вскакивая и дрожа всем телом. — Гоните ее вон, она меня замучила! — продолжала она, быстро идя за Аленой по коридору и топоча ногами. — Вон! Розог! Бейте ее!

И потом вдруг опомнилась и опрометью, как была, непричесанная, немытая, в халате и туфлях, бросилась вон из дому. Она добежала до знакомого оврага и спряталась там в терновнике, чтобы никого не видеть и ее бы не видели. Лежа тут на траве неподвижно, она не плакала, не ужасалась, а, глядя на небо, не мигая, рассуждала холодно и ясно, что случилось то, чего нельзя забыть и простить себе в течение всей жизни.

«Нет, довольно, довольно! — думала она. — Пора прибрать себя к рукам, а то конца не будет... Довольно!»

В полдень проезжал через овраг в усадьбу доктор Нещапов. Она видела его и быстро решила, что начнет новую жизнь, заставит себя начать, и это решение успокоило ее. И провожая глазами стройную фигуру доктора, она сказала, как бы желая смягчить суровость своего решения:

«Он славный... Проживем как‑нибудь».

Она вернулась домой. Когда она одевалась, в комнату вошла тетя Даша и сказала:

— Алена тебя встревожила, душечка, я услала ее домой в деревню. Мать ее избила всю и приходила сюда, плакала...

— Тетя, — быстро проговорила Вера, — я выхожу за доктора Нещапова. Только поговорите с ним сами... я не могу...

И опять ушла в поле. И идя, куда глаза глядят, она решила, что, выйдя замуж, она будет заниматься хозяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают другие женщины ее круга; а это постоянное недовольство и собой, и людьми, этот ряд грубых ошибок, которые горой вырастают перед тобою, едва оглянешься на свое прошлое, она будет считать своею настоящею жизнью, которая суждена ей, и не будет ждать лучшей... Ведь лучшей и не бывает! Прекрасная природа, грезы, музыка говорят одно, а действительная жизнь другое. Очевидно, счастье и правда существуют где‑то вне жизни... Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо...

Через месяц Вера жила уже на заводе.